

Константин ФРОЛОВ

«ОНТОЛОГИЯ ДЕТСТВА» В. ПЕЛЕВИНА, ПРОЧИТАННАЯ ЧЕРЕЗ ПЛАТОНА

Всякий текст начинается с заглавия. «Онтология детства» в этом смысле являет собой сочетание слов, достойное отдельного осмысления. Поверхностному взгляду оно могло бы представиться претенциозным, будто автор с ходу и грубо обозначает весь пафос собственного творения в броском заголовке — этаким фальстарт — и тем самым изначально стремится подавить читателя: сейчас будет нечто серьезное. Ведь и онтология как слово о подлинно существе, и детство как вмещилище самых чистых и искренних эмоций обладают ценностной окраской, максимально приближенной к статусу священного.

При этом не следовало бы оставлять без внимания и контраст между этими понятиями: академический, монументальный термин здесь берет под управление категорию наивную. Однако, взяв ее в качестве аргумента, главный термин все же заметно превосходит свой аргумент по мощи коннотаций: «онтология детства» — категория отнюдь не детская. Так карликовая планета — не планета, а фальшивые деньги — это и не деньги вовсе.

Онтология детства — это категория, рожденная в духовной зрелости. Это не ирония над тем обстоятельством, что убогим взрослым, живущим в силу собственного невежества в вынужденной аскезе, свойственно даже самые тонкие смыслы облекать в мрачные и суровые формулировки, а из них, в свою очередь, путем рекомбинации производить многостраничные тома. Это скорее попытка вырваться за границы языка при помощи самого языка. И раз уж ты решился действовать *так*, говорить при помощи слов, а не как-либо еще, то уж нелепо было бы этих слов теперь опасаться. Теперь они — твои инструменты и подчиняются твоему замыслу. А потому они не в силах — даже при всей своей грузности, грубости — помешать тебе выразить то, что ты хочешь. Отсюда эта смелость в заглавии.

Константин Геннадьевич Фролов родился в 1988 году в Ленинграде. Окончил Институт философии СПбГУ (2015), там же защитил кандидатскую диссертацию по специальности «История философии» (2017). В настоящее время — доцент кафедры философии СПбГЭТУ ЛЭТИ. Автор более десятка статей в ведущих журналах РАН, таких, как «Вопросы философии», «Философский журнал», «Vox» и др.

Онтология — учение о подлинном. Как следствие, выявление подлинного — основная задача автора данного текста. Неудивительно, что решать ее можно лишь посредством демонстрации мифа — мифа о ребенке, рожденном и воспитанном в неволе, в тюрьме. Аллюзия на платоновский миф о пещере здесь довольно прозрачна. Интереснее другое — те сюжетные деформации, те оговорки и проговаривания, в которых дает о себе знать детский опыт самого автора. Например, о праздничном реве ползущих на парад танков, движение которых по звуку отличишь от самоходок, или воспоминания об игре в футбол во дворе. Эти намеренно оставленные следы связи мифа с реальностью понуждают нас сместить фокус внимания на действительно важное. Если все, что мы имеем, лишь феноменология, если «видеть — на самом деле значит накладывать свою душу на стандартный отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза», то увидеть больше, чем положено по стандарту, можно, лишь имея нестандартную душу. В этом остранении опыта восприятия повседневности, очевидно, заключена одна из интенций автора.

При этом путь к этому остранению опыта открыт для нас в любой момент. Так в детстве «весь мир еще удивителен, все в нем странно». Потом, со взрослением, такая оптика уходит. Однако, уходя, она оставляет нам ключ — сами воспоминания. Да, в повседневной жизни взрослого человека окружает не так много странного, но ведь всегда при себе можно держать воспоминания. И тогда самым странным из всего наличествующего будет как раз то, что одни и те же вещи, которые когда-то были странными, теперь это качество необратимо утратили. Подобное странно само по себе. Странно потому, что вещи остались на своих местах. Перемены случились в субъекте. Перемены неконтролируемые, непреднамеренные, однако неотвратимые.

Увидеть неотвратимость собственного падения, собственного *отпадения* от восприятия подлинного (которое невозможно воспринимать иначе чем в качестве странного) — увидеть и осознать эту неотвратимость — значит увидеть нечто странное само по себе и, как следствие, всегда иметь шанс выйти на связь с подлинным, пусть и косвенную.

Знание как припоминание, как обреченное стремление восстановить в себе хотя бы отблески того опыта, который был тебе уже когда-то дарован, но от которого ты отпал и которого потому наверняка в этой жизни больше не будет, — это вторая очевидная тема, роднящая миф Пелевина с доктриной платонизма.

Отсюда критика письменности, данная нам Пелевиным в двух ипостасях. Во-первых, общая критика того, что пишут (и читают) взрослые люди: «Надо совсем повзрослеть, чтобы понять, насколько неинтересно и убого все то, что ты успел столько раз перечитать» [1:156]. «Совсем повзрослеть» тут может быть прочитано двояко. С одной стороны, «совсем повзрослеть» — значит совсем утратить способность усматривать красоту в чем угодно, независимо от того, в качестве чего оно воплощено в материи, поскольку красота всегда в смотрящем; красота — это идея, и все сущее несет на себе ее отпечаток. С другой стороны, «совсем повзрослеть» может быть прочитано как «достичь подлинной зрелости», когда некоторые из иллюзий прошлого, обманчивые впечатления и влечения (влечение к справедливости, обретающее форму мстительности и животной агрессии, или же плотское влечение), перестают иметь власть над субъектом. Феноменологическое сходство между этими явлениями — *утратой* способности видеть подлинную природу вещей при переходе из детства во взрослую жизнь и *обретением* способности видеть подлинную природу вещей при переходе из оптики повседневности к оптике зрелого ностальгического остранения — одна из важнейших философских проблем, затронутых автором в данном рассказе. И обретение, и утрата здесь достигаются одним и тем же путем — путем взросления. Обрести можно лишь утратив. В случае же с переоценкой ценности прочитанного в детстве это и вовсе один и тот же про-

цесс. Так, лишь утратив всякую восторженность по отношению к справедливому парню Артему или товарищам таким-то, можно осмыслить природу и значение того восторга.

Однако что это дает? Если сам восторг навсегда утрачен, то какой смысл теперь его препарировать в собственной памяти? Что ж, смысл здесь сводится к тому, что если утрата не компенсируется обретением, то, значит, она была напрасна. Рефлексия есть действие, нацеленное на искупление вины за эту утрату. Той вины, в которой ты вроде бы не повинен, поскольку это не ты решал, когда тебе взрослеть и начинать «вставать вместе со всеми», и все же ту вину ощущаешь в себе, несешь ее как бремя, будто внутренний голос говорит тебе, что взрослеть можно было как-то иначе.

И вот эта вина — вина за то, что взросление не привело к освобождению маленького узника, — требует хотя бы на время откупиться болью воспоминаний. Если тебе больно, значит, ты еще не совсем потерял. Эта боль дает надежду. Затем она же становится тем опытом, который нуждается в собственном осмыслении. И вот уже мысль пошла на новый круг, и там, на этом новом кругу, мысль силится понять, идет ли здесь речь о каком-либо восхождении, или же хождение по кругу — это всего лишь хождение по кругу.

В этом смысле весьма показательно ясно заявленное отношение рассказчика к детству как таковому: «В детстве счастлив потому, что думаешь так, вспоминая его. Вообще, счастье — это воспоминание» [1:156]. Потому было бы недостаточно оказаться там же и вновь стать тем же, прежним. Тем самым обнаруживается, что опыт воспоминания, опыт вторичной (третичной, etc.) реконструкции не менее, но даже более важен, чем его исходный материал. В той же мере, вопреки иллюзии желанности, было бы недостаточно всю жизнь оставаться ребенком. Ведь среди прочего это предполагало бы бесконечное перечитывание с равным восторгом одних и тех же шести скверных книг без всяких шансов на то, чтобы постичь убогую ограниченность даруемого ими содержания. Подобное, несмотря на весь тот восторг, в конечном итоге не принесло бы ни счастья, ни понимания (потому что счастье, в отличие от грусти или того же восторга, не переживается и не испытывается; оно *мыслится* и, соответственно, дается лишь через понимание — вполне платонистский по своему духу тезис). Хоть жизнь в детской оптике и подобна жизни в раю — ежесекундно соприкасаешься с подлинным (с красотой), пусть и не отдаешь себе в этом отчета, — но чтобы понять, что это было, абсолютно необходимо оказаться из этого рая изгнанным.

Другое дело, что трагичность этому положению придает его необратимость, причем эта необратимость необходимой отнюдь не выглядит. Да, рано или поздно повзрослеть, вырасти в интеллектуальном и духовном плане из коротких штанишек детства все равно надо, однако остается все же неясно, почему двери в этот нераспознанный рай закрываются столь плотно, что не остается ничего другого, кроме как бережно хранить скопленные воспоминания, вызывая их в памяти не слишком часто, чтобы они не затерлись и не трансформировались в нечто иное. Кажется ничем не оправданной та жестокость жизни, которая не позволяет никаким способом вымолить хоть ненадолго вернуться *туда*. Жестокость эта вполне родственна той, с которой жизнь способна навсегда отнимать у нас самых близких.

Второй тип критики письменности Пелевиным уже совершенно платонистский по своему духу: «Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли — текст» [1:155]. Понять, в какой степени, приобретая навык беглого чтения, мы вместе с тем утрачиваем нечто более ценное, можно лишь в контексте следующих слов: «Только потом понимаешь, что переговариваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос, постепенно становящийся все глуше и тише» [1:159].

Текст передает информацию, факты. Он заточен на выполнение этой функции. Однако осведомленность о фактах — это далеко не все, что нам требуется в жизни. Под-

линейная ценность состоит не в знании как таковом, но в способности любое знание правильно оценить. Сам текст, само знание не в силах ни выполнить эту функцию, ни научить ей. Оценивание случается только в свете живого опыта. Потому никакое многократное перечитывание одних и тех же текстов не поможет распознать их ценность. Для этого необходимо выйти вовне. Но как только мы сделаем этот шаг, ценность прочитанного едва ли удержится на первоначальном уровне. Почему так? Какой ход мысли мог бы привести нас к столь радикальному выводу о том, что ни один текст в мире не заслуживает того, чтобы слушать его больше, чем голос собственной души?

За ответом обратимся к диалогу Платона «Менон», где читаем: «А раз душа бессмертна, часто рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего бы она не познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспомнить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто вспомнил что-нибудь одно, — люди называют это познанием — самому найти и все остальное, если только он будет мужествен и неутомим в поисках: ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать» [2:81d].

Известно, что теория познания Платона насквозь проникнута мистицизмом. Мистицизм же нас обыкновенно отталкивает. Почему? Отчасти неприятие вызывает заявленный уровень пафоса. Есть темы, на которые лучше вообще не говорить, чем говорить о них неподобающим образом. При этом слова для подобающего образа подобрать нелегко, потому любые чужие попытки, как правило, видятся нам неудачными (если, конечно, нас волнуют сами вопросы; в противном случае сказанное воспринимается как обыкновенное пустословие).

Однако помимо проблемы подбора слов остается еще и проблема содержания. Если оно невыразимо, если слова Платона, как и слова Пелевина, — это заведомо «не то», к чему же тогда пытаться? Вопрос о мотивации автора, пишущего что-либо подобное, всякий раз оказывается достоин самого пристального внимания. Для кого и с какой целью Пелевин написал свой рассказ? Для кого писал Платон? Для кого, наконец, пишу я?

Лучший из возможных ответов на подобный вопрос обнаруживается в платоновском диалоге «Федр». В его заключительной части Сократ приводит выдуманный им же самим миф о египетском боге Тевте, изобретателе письменности. Тевт решил донести это умение до людей, для чего обратился к египетскому царю Тамусу с предложением принять эти письмена в дар. Царь ответил: «Искуснейший Тевт, один способен породить предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. <...> Припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри, сами собою. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость» [3:275a]. Приведя в качестве мнимого свидетельства эти выдуманные слова (в действительности выдуманные даже не Сократом, а автором диалога Платоном), Сократ и сам развивает те же идеи: «Тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство и кто в свою очередь черпает его из письмен, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее — оба преисполнены простодушия. <...> Думаешь, будто они [письмена] говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же» [3:275d]. Равно как и те шесть книг из тюремной библиотеки!

Потому Сократ хотя и заботился о будущих поколениях афинян и положил много сил на общение с юношеством, но за свою жизнь не написал ни строчки. Эти сюжеты известны под общим названием критики письменности у Платона. Однако почему

же сам Платон не внял максиме своего учителя? Ответ раскрывается в «Федре» далее: «Ведь когда он [философ] пишет, он накапливает запас воспоминаний *для себя самого* на то время, когда наступит старость — возраст забвения» [3:276d].

Да, в основе всякой письменности лежит страх забыть и утратить однажды помысленное. Стремление овладеть технологией воспроизводства того опыта, который в естественном виде хранится в нашей памяти неведомым для нас образом — вот что есть письменность. Недоверие к себе, подкрепляемое множеством разочарований и аналитикой собственных падений, побуждает нас создавать эти мгновенные снимки души с тем, чтобы впоследствии, что бы ни случилось, сохранить для себя возможность, рассматривая их, извлекать из них воспоминания о том лучшем, что в нас когда-то было.

Этому мотиву недоверия к себе противостоит мотив веры в себя, в свою высокую природу — веры, почти невозможной. Так мифический царь Тамус устами Сократа говорит о том, что подлинная мудрость рождается в душе «изнутри, сама собою». Аналогичным образом и у Пелевина «перестукиваться с Богом нельзя, потому что ты сам и есть его голос». Правда, голос, «постепенно становящийся все глуше и тише».

Почему? Что глушит этот внутренний голос?

Схема взросления обозначена Пелевиным предельно ясно: это движение от состояния, описываемого, как «начиналось все с самого солнечного и счастливого места на земле», к противоположному: «И вот из зыбкого тумана забывающегося детства выплывает — как при наведении фокуса — понимание того, что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира. И когда ты окончательно понимаешь это, на тебя начинают в полной мере распространяться законы твоей тюрьмы» [1:160].

Твоей тюрьмы. Тюрьма — это мысль, произведенная на свет в акте ее осознания. До этого акта никакой тюрьмы не было. Тюрьма появилась тогда, когда ты впервые о ней подумал. Точнее, все, что тебя окружает, в этот момент *стало* тюрьмой.

Однако в тот момент, когда ты живо вспоминаешь то время, когда все вокруг тюрьмой еще не было, когда ты видишь себя, бегущего по коридору или играющего в футбол, в это мгновение твое окружение вновь ненадолго перестает быть тюрьмой. Ты *вспоминаешь*, что никакой тюрьмы, в сущности, нет, есть лишь твоя неспособность мыслить иначе. Ведь солнечный свет светит все так же и все так же несет в себе идею красоты, сообщая ее всему вокруг.

Тот момент, когда ты впервые увидел всю грязь окружающего тебя мира, — он же и есть тот момент, когда ты разучился видеть его красоту. И вновь, как и в случае с прочитанными шестью книгами, обретение — в данном случае обретение фокуса видения — по времени совпадает с утратой, будучи, в сущности, одним и тем же явлением.

И когда осознание всего этого при поддержке живого воображения позволяет хоть на миг перестать видеть в окружающем мире лишь вонь и тюрьму, рождается потребность в память об этом опыте создать *свои* письмена, *свой* миф. И трудно осмыслить всю сложность тех семантических механизмов, которые позволяют хоть в какой-то степени облечь в материальные знаки энергию этого мифа — энергию, способную при случае пробить брешь в прочных стенах чей-то тюремной повседневности.

Нам остается лишь рассмотреть обозначенный выше вопрос: можно (и нужно) ли проходить путь взросления как-то иначе? Опцию вечного детства и вечной наивности мы здесь в расчет не берем — это не выход. Но можно ли достичь зрелости, так и не усмотрев в собственном окружении тюрьму, то есть как бы в обход этого травматического опыта? Или же даже увидев ее, все же не впасть от увиденного в отчаяние? Конечно, можно. Нередко для этого оказывается достаточно идти по такому пути не в одиночку. Ведь сущность тюрьмы сводится не только к ограниченности и регламентации доступного опыта, но и к отсутствию выбора, с кем, среди кого тебе доведется эту жизнь проживать. И в этот момент миф Пелевина должен быть осознан в качестве *ложного*

мифа. «Ложный» при этом вовсе не означает «вредный» или «опасный». Катарсис здесь как раз и наступает в результате осознания этой лжи. В чем же она состоит?

Ложь проступает тогда, когда во многом справедливая критика письменности, исходящая из того, что в мире нет такого текста, доверять которому следовало бы более, чем голосу собственной души, доводится до чуждого Платону предела и оборачивается тезисом о том, что ни один человек в мире не достоин заботы и внимания больше, чем ты сам. Отсюда всего лишь шаг до мысли о том, что ни одного человека в мире не стоит любить и ценить больше, чем себя. И когда этот шаг сделан, совершить побег из такой тюрьмы оказывается уже невозможно. Красота не в силах спасти того, кто противопоставляет красоту мира и уродство людей, не мысля себе возможности усмотреть красоту в отдельном человеке, а усмотрев, полюбить его и тем самым окончательно разрушить *свою* тюрьму.

Литература

1. Пелевин В. О. Онтология детства // Пелевин В. О. Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Терра, 1996. С. 152–161.
2. Платон. Менон // Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 575–612.
3. Платон. Федр // Платон. Собр. соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 135–191.